

*И.Н. Коржова*  
*I.N. Korzhova*

**«ВИЛЫ» А. ИВАНОВА: МЕЖДУ ПУШКИНСКОЙ И ЕСЕНИНСКОЙ  
 ТРАДИЦИЕЙ ОСМЫСЛЕНИЯ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА**

**"PITCHFORK" BY A. IVANOV: BETWEEN PUSHKIN'S AND  
 YESENIN'S TRADITION OF UNDERSTANDING THE PUGACHEV  
 REBELLION**

*В статье исследуется историко-публицистическая книга А. Иванова «Вилы». Показано, что принципы историзма, научности и объективности отчасти потеснены в ней логикой разворачивания художественных образов. Автор декларирует следование традициям Пушкина как автора «Истории Пугачева», но развивает и линию Есенина, создавшего свой миф о Пугачеве – крестьянском бунтовщике. Иванов предлагает отличное от предшественников понимание пугачевского бунта как войны за идентичность, поэтому в статье идет речь не столько о концептуальном сходстве авторов, сколько об общности подходов к историческому материалу. Так, Иванов, подобно Есенину, использует метод «двойного прочтения» событий, включая в исторический труд аллюзии на современность. Автор «Вил» предельно точен в описании этнического состава участников бунта, в характеристике уклада их жизни. В отличие от Есенина, увидевшего в пугачевщине прежде всего крестьянский бунт, Иванов подробно характеризует разные группы мятежников. Он описывает уклад и ценности яицких казаков, горнозаводских рабочих, инородцев и крестьян. При этом обоим писателям свойственно понимание привязанности к земле как фактора, ограничивающего крестьянский бунт. Оба акцентируют азиатское начало, связанное не только с составом участников, но и с природой бунта. Евразийство Иванова корреспондирует со скифством Есенина. Природа в «Вилах» и «Пугачеве» изображена мифопоэтически и принимает на себя роль соучастника или высшего судьи происходящего. Усиливает иррациональность бунта обращение к приемам макарба, образам восставших мертвецов и судного дня. Иванов вводит в свою книгу трагического героя, борющегося с судьбой и ведомого ею. Но им оказывается не Пугачев, как это было у Есенина – в отношении вождя восстания автор стремится сохранить объективную дистанцию. Трагический герой Иванова – Салават Юлаев, образ которого спаян с народными преданиями. Наконец, Иванов прямо заимствует есенинскую интерпретацию образа Хлопуши. У обоих Хлопуша не гонец Рейнсдорпа, а подсланный губернатором убийца Пугачева, вставший на сторону мятежников.*

**Ключевые слова:** Пугачевский бунт, традиция, историчность, мифологизация истории, трагический герой.

*The article examines A. Ivanov's historical and journalistic book "Pitchforks". It is shown that the principles of historicism, science and objectivity are partly displaced in it by the logic of unfolding artistic images. The author declares following the*

*traditions of Pushkin as the author of the "History of Pugachev", but also develops the line of Yesenin, who created his own myth about a peasant rebel Pugachev. Ivanov offers a different understanding of the Pugachev rebellion as the war for identity from his predecessors, so the article is not so much about the conceptual similarity of the authors as about the commonality of approaches to historical material. So, Ivanov, like Yesenin, uses the method of "double reading" of events, including allusions to modernity in the historical work. The author of "Pitchfork" is extremely accurate in describing the ethnic composition of the participants of the riot, in describing their way of life. Unlike Yesenin, who saw first of all a peasant revolt in Pugachevshchina, Ivanov characterizes in detail different groups of rebels. He describes the way of life and values of the Yaitsky Cossacks, mining workers, foreigners and peasants. At the same time, both writers tend to understand attachment to the land as a factor limiting peasant revolt. Both emphasize the Asian origin, connected not only with the composition of the participants, but also with the nature of the riot. Ivanov's Eurasianism corresponds with Yesenin's Scythianism. Nature in "Pitchfork" and "Pugachev" is depicted mythopoetically and assumes the role of an accomplice or the supreme judge of what is happening. The irrationality of the rebellion is reinforced by the appeal to the makarba techniques, the images of the risen dead and the Day of Judgment. Ivanov introduces into his book a tragic hero struggling with fate and guided by it. But it turns out not to be Pugachev, as it was with Yesenin – in relation to the leader of the uprising, the author seeks to maintain an objective distance. The tragic hero of Ivanov is Salavat Yulaev, whose image is soldered with folk legends. Finally, Ivanov directly borrows Yesenin's interpretation of the image of Khlopush. For both of them, Khlopush is not a messenger of Reinsdorp, but a murderer of Pugachev sent by the governor, who sided with the rebels.*

**Key words:** *Pugachev's revolt, tradition, historicity, mythologization of history, tragic hero.*

DOI: 10.24888/2079-2638-2023-58-3-45-52

**В**илы» А. Иванова – второй подступ писателя к теме пугачевского восстания. После выхода в 2005 г. романа «Золото бунта», в котором бунт оказывается на периферии изображения как недавнее прошлое горнозаводского Урала, в 2012 г. Иванов выпускает фотокнигу «Увидеть русский бунт», а в 2016 г. слегка переработанный текст выходит в более скромном черно-белом издании, сохранившем многие фотографии. Эта книга получила заглавие «Вилы», под которым уже была переиздана.

Сам писатель имеет перед собой очевидный и нескрываемый ориентир – А.С. Пушкина как создателя «Истории Пугачева», хотя автор не раз ссылается и на «Капитанскую дочку». Сам Иванов никак не противопоставляет эти произведения, знаменательно игнорируя различие в подходе историка и художника. А ведь и сами произведения, и Пугачев в них резко различны. М. Цветаева была поражена последовательностью появления пушкинских произведений: «будь “Капитанская дочка” написана первой, было бы естественно: Пушкин сначала своего Пугачева вообразил, а потом – узнал. (Как всякий поэт в любви.) Но здесь он сначала узнал, а потом вообразил» [11, 518]. Иванов к осмыслению пугачевщины идет более ожидаемым путем: от написания романа к созданию беспристрастного исследования. Однако «Вилы» так и не достигают объективности даже научно-популярного труда. П.А. и П.П. Гончаровы, одни из немногих исследователей произведения, говорят о двойственности его природы: «В документально-публицистическом повествовании "Вилы" А. Иванов пытается соединить две трудносоединимые сферы: документально-историческую и публицистическо-художественную» [2, 143]. Принципы создания художественного образа и подчинение фактов некоторым мифологическим идеям – не менее мощные организующие принципы в

произведении Иванова, нежели беспристрастная логика событий. Этот «эстетический» модус имеет ряд концептуально важных параллелей с драматической поэмой С. Есенина «Пугачев» и объективно является развитием того же подхода к историческому материалу. Изучение этих параллелей составляет цель представленного исследования. Вопрос прямого влияния более сложен, но тоже будет рассмотрен в нашей работе.

Неоднократно упоминая исторический труд Пушкина, Иванов, вероятно, хочет видеть себя в большей степени наследником жанра, чем продолжателем концепции. Он отказывает в полноте всем предшествующим взглядам на природу бунта (впрочем, другие предшественники, кроме Пушкина, остаются безымянными). Для него же самого пугачевщина – война за идентичность, причем ее сила и слабость заключались в том, что идентичность различных групп бунтовщиков отличалась: «В казачьем мире Яика пугачевщина стала корпоративной войной: яицкие казаки не хотели жить так, как оренбургские, потому и забунтовали. <...> В рабочем мире Урала пугачевщина стала гражданской войной: крестьяне не хотели работать для заводов и пошли их жечь, <...>. В Башкирии пугачевщина стала национально-освободительной войной <...>. В крестьянском мире Поволжья пугачевщина стала криминальной войной: крестьяне грабили своих хозяев и мстили за притеснения» [5, 10–11]. Очевидно, что понятие идентичности и цементирующих ее ценностей довольно однозначно сводится к типу хозяйства.

Сам выбор терминологии, актуальной в XXI веке («элиты», «идентичность», «мировой рынок»), отмечен П.А. и П.П. Гончаровыми, ими же сделан очевидный вывод: «в целом это скорее попытка горького прозрачного намека, трагической аллюзии, сближения ситуации конца XVIII столетия с социально-политическими реалиями современной эпохи» [2, 143]. Возможность такого двойного прочтения неоднократно возникает прежде всего в связи с образом России как империи.

Такое прочтение, разумеется, нельзя априори назвать антиисторичным, оно совместимо и с идеями циклического развития истории, и в качестве аналогии. И все же очевидная оглядка на современность уводит Иванова от историографических принципов Пушкина.

Актуализация исторических событий характерна для драматической поэмы С.А. Есенина. Мера историзма этого произведения является дискуссионным вопросом у исследователей. Е.А. Самоделова отстаивает мысль об историчности поэмы [9]. А.М. Марченко, напротив, тотально применяет принцип «двойного зрения», трактуя большинство образов как отклик на восстание Колчака [6]. Взвешенная позиция отличает Н.И. Шубникову-Гусеву, Д.В. Поля, указывающих на соотнесение событий поэмы с Октябрьской [12] и Февральской революцией [8], но избегающих прямой дешифровки каждого образа. Вступая на путь исторических аналогий и предупреждений, Иванов объективно следует за Есениным.

Сама концепция пугачевского бунта, безусловно не заимствуется Ивановым у Есенина. В своей поэме Есенин, как было отмечено не раз, показывает Пугачева как предводителя крестьянского бунта. Его Урал во многом лишен своей географической и социокультурной специфики: перед нами некая единая «идеальная, архаичная Русь» [8, 365]. Подобного нивелирования Иванов, конечно, не допускает, но обращает внимание на изменчивый состав бунта: «Под Оренбургом Пугачев оставался казаком, и пока длилась осада, гибель заводам не угрожала. Но по Уралу Пугачев пошел уже крестьянским вождем, и заводы оказались обречены» [5, 202]. Крестьянская идентичность, по его мнению, наиболее далека от казачьей. И она не дает развернуться бунту в Поволжье.

Связь крестьянина с землей для обоих писателей сродни путам, земля не пускает крестьянина дальше его надела. Сторож говорит Пугачеву:

Оттого, что стоит трава на корячках,  
Под себя коренья подобрал.  
И никуда ей, траве, не скрыться

От горячих зубов косы.  
Потому что не может она, как птица,  
Оторваться от земли в синь.  
Так и мы! Вросли ногами крови в избы...[3, 10]

Разрыв пут у Есенина чреват и разрушением крестьянского космоса. О.Е. Воронова видит в основе поэмы конфликт гармонизирующих космических сил и бунта, разбудившего хаотические начала: «Стихия мятежа и рока вырвала крестьян из родимой почвы, лишила их корней, обрекла на беспокойное кочевье, устремила навстречу миру страшному, опасному, неизведанному. Изменив своему крестьянскому космосу, они оказались над бездной неведомого им "хаоса"» [1, 245]. В этом отрыве и сила, и трагическая вина Пугачева. Для Иванова не вина, а беда Пугачева – запоздалое понимание разницы между укладами: «Для казаков и башкир бунт был как военный поход: все вместе идут куда смогут. А для крестьян бунт был как жатва: каждый идет один до конца своей борозды» [5, 445].

Игнорируя специфику казачьего уклада, Есенин активно подчеркивает участие «инородцев» в восстании. Сливая два бунта, он начинает историю Пугачева непосредственно с бегства калмыков. В его строках «Нынче ночью, как дикие звери, / Калмыки всем скопом орд / Изменили Российской империи / И угнали с собой весь скот» [3, 14], вероятно, отразилась фраза «бутте подобны степным зверям» [Цит. по: 5, 11] из приказа Пугачева № 6 от 1 октября 1773 г., обращенного к башкирским старейшинам. Думается, «азиатские» образы Есенина далеки от анализа реального этнического состава участников бунта. «Смуглый монголец» [3, 15], «монгольскую рать» [3, 27], «скуломордая татарва» [3, 34] – обозначения, обладающие силой аллюзии, обращающие нас к основам степной жизни. Азиатское начало подается не столько как внешнее Пугачеву, сколько как внутреннее. И про себя Емельян говорит: «сердцем такой же степной дикарь» [3, 21]. Парадоксальным образом с мифом о патриархальной Руси сплетаются идеи скифства. До самого последнего момента, до осознания предательства, Пугачев у Есенина не сломлен, он готов стать новым Тамерланом. В финале он все более растворяется в самой стихии мятежа, как бы теряя первоначальный идеал Руси. Для Зарубина сама степь придает всему азиатские черты: Загляжусь я по ровной голи / В синью стынущие луга, / Не березовая ль то Монголия? / Не кибитки ль киргиз — стога?.. [3, 34].

Исследование «поэтической этнологии Есенина» приводит Н.М. Солнцева к выводу: «Для Есенина "скифство" не было пройденным этапом» [10, 15].

Иванов точен и в выявлении этнического состава восстания, и в понимании того, что Пугачев по примеру Игната Некрасова держал в голове бегство за границы империи как вариант спасения. Пугачев вовсе не стремится перекинуть стихию бунта в Азию. Но мысль, что азиатская модель социального устройства заложена в самом пространстве степи, постоянно всплывает на страницах повествования.

Иванов заявляет как методологически важный принцип необходимость «наложить историю на территорию». Как и Пушкину с Есениным, ему необходимо «увидеть русский бунт». Причем если Пушкин отыскивал последние следы живого предания о Пугачеве, то Есенин мог встретиться в степях разве что с бессмертным гением места.

Модель, предложенную Пугачевым, Иванов в духе идей Л. Гумилева связывает с природными условиями степи и называет улусом Пугачева: «мятежные казаки Яика возрождали новый улус Джучи – улус Пугачева. Конечно, казаки не знали истории, просто Великая Степь могла породить лишь один тип государства: как у сарматов, гуннов или ордынцев. Улус Джучи» [5, 16]. Этот образ неоднократно появляется на страницах повествования и явно вытесняет привычное сочетание Золотая Орда, обросшее негативными коннотациями для русского сознания. Хотя само войско Пугачева Иванов не раз именует ордой, актуализируя сразу несколько смыслов слова. Так что даже не Тамерлан, а сын Чингисхана становится пробразом Пугачева, а последний прямо назван

его реинкарнацией. Евразийство, становящееся ключом к осмыслению пугачевского бунта, вновь невольно сближает Иванова с Есениным.

Под пером Иванова природа из условий хозяйствования легко становится волей пространства. Да и очевидное желание сделать повествование зримым и конкретным, но не отступать от довольно ограниченных исторических сведений приводит к тому, что пейзаж и само место становятся самыми живыми участниками событий. Не случайно многие фотографии снабжены сходными подписями – «свидетель» (не забывает Иванов привести фотографии нескольких «Пугачевских дубов», равно как и дерева, с которого барышни наблюдали за встречей Пушкина и Даля). Сконденсированность истории в пейзаже, прочитывание пространства как хронотопа определяет творческий почерк Иванова и открывает двери мифопоэтическому и народноэпическому началу, потесняющим историзм.

Природные образы у Иванова, так же, как и у Есенина, вовлечены в происходящее. Здесь пушкинская традиция разветвляется, и оба идут по пути художественному, определившему образы «Капитанской дочки», но никак не отразившихся в «Истории Пугачева». За имажинистской вычурностью природных метафор Есенина стояло глубокое мифопоэтическое ощущение мира. В его поэме природа максимально дисгармонична. При этом природа далеко не проекция чувств героев – вспомним пугающее предостережение: «Около Самары с пробитой башкой ольха...» [3, 35]. Важны слова самого Есенина, свидетельствующие о значимости природных образов в его поэме: И.И. Старцев вспоминал, что Есенин «долго ожидал от критики заслуженной оценки и был огорчен, когда критика не сумела оценить значительность этой вещи.

– Говорят, лирика, нет действия, одни описания, – что я им, театральным писателем, что ли? Да знают ли они, дурачье, что "Слово о полку Игореве" – все в природе! Там природа в заговоре с человеком и заменяет ему инстинкт» [Цит. по: 13, 497].

У Иванова природа тоже ощущает страшное величие происходящего: «В августе 1773 года из красно-сизого заката, что дымил над Общим Сыртом, на Таловый умет вкатилась черная кибитка Емельяна Пугачева» [5, 470]. На уровне локального пейзажа она может оказаться соразмерна человеку, но ее глобальные образы над бунтом, а потому природа чаще оказывается судьей, а не соучастником. «В дороге от Оренбурга до Екатеринбурга старичок Рычков простудится и умрет. Его отпоют Общий Сырт, река Яик и сказочный зверь бабра, отродие тигра» [5, 111]. «Зима устала от озлобления. Крест уфимской колокольни резал утробы сизых туч. Ветер валил столбы разрывов, рвал пороховые дымы» [5, 355].

В работе Иванова первоначальные идеи и задачи не полностью подчиняют себе повествование. Выдвинутый тезис об идентичности практически повисает в воздухе. Зато из самой ткани повествования выделяются и овладевают текстом другие идеи, в некотором смысле срабатывает принцип формосодержательного единства, и стиль повествования начинает изменять, а подчас и ломать декларированную концепцию.

Профессиональный взгляд писателя ищет рифмовку судеб героев, из обрывков сведений слагает образы. Профессиональный взгляд культуролога смещает интерес от факта к преданию, и Иванов то невольно, то с явной охотой не наблюдает миф извне, но оказывается захвачен им. Переход к правде предания знаменуют фразы: «Реальная ханша Сююмбике прожила вполне благополучную жизнь, но татары знают правду» [5, 430], «Уфа оказалась не по плечу батыру – и все равно Салават станет конным гением Уфы и этим покорит ее безоговорочно и навеки» [5, 401–402].

Если Есенин подчеркивал полное отсутствие в его поэме женских персонажей: «В моей трагедии вообще нет ни одной бабы. Они тут совсем не нужны: пугачевщина – не бабий бунт» [Цит. по: 13, 467], то у Иванова одну из легко вычленяемых линий образуют «женские» судьбы: образы капитанской, атаманской, сержантской дочек, бывших возлюбленными Пугачева. Очевиден интерес к преданиям и легендам, связанным с женским, примиряющим культуры началом. Здесь зарифмованы предания о Табынской и

Казанской иконах Богоматери, Сююмбике, царице Бендебике. Через повествование проходит мотив заступничества Богоматери, но чаще – мотив безмолвия святынь, их неучастия в схватке, а также мотив силы слова, выбора между путем поэта и воина и др.

Большую роль в повествовании Иванова играет мотив рока, некоей предзаданности судьбы. П.А. и П.П. Гончаровыми отмечено, что роль назначенной судьбой роковой силы в книге выполняет Михельсон [2]. Кажется, что только он один с небольшим detachmentом бесконечно преследует Пугачева. Рисунок судьбы угадывается и в описании возвращения Пугачева в Казань, и в том, что колыбелью и могилой восстания стал Яик. Вообще, в финальной части верх берет мысль о том, что бунт подчинен собственным законам: «Бунт становился однообразным. <...> Пугачев видел, как ликует народ, которому кидают медяки, но понимал, что уже скоро сюда явятся царские войска и без усилий восстановят прежний порядок. Бунт словно бы крутился вхолостую» [5, 530].

Пугачев мыслился Есениным как герой трагический, т.е. герой, столкнувшийся с роком. По нашему мнению, этот роковой исход заложен в самой природе мироздания, недаром предатели Пугачева сравнивают ход бунта с годовым циклом, а себя с листьями. Эта цикличность, которую намерен разрушить герой, проявлена у обоих авторов. Но у Иванова историческая беспристрастность, стремление сохранить объективность по отношению к Пугачеву и раскрыть исторические причины поражения, не дают мотивам рока проявиться в полную силу по отношению к центральной фигуре. Не Пугачев поднимается до статуса трагического героя. Таким героем, может самым любимым и человечным из всех, данных в «Вилах», становится Салават Юлаев: «Салават мог отказаться от Пугачева, и никто бы его не покарал. Но он выбрал дорогу бунта, и на этой дороге третье столетие гремит башкирский боевой клич "Салават!"» [5, 368], «горький опыт еще научит Салавата: желанный подвиг – это не громкая победа над врагами, а личное непокорство, которое становится судьбой» [5, 382]. Иванов показывает трагическое несовпадение реальной жизни и места, предуготованного судьбой для юного героя. О его подвигах слагают песни тогда, когда он так и не смог одержать крупной победы. Это наиболее трагический, ибо чувствующий судьбу за спиной персонаж Иванова. «Салават сражался с историей. А история сильнее любого человека. И побеждает ее тот, кто знает о неизбежности поражения, но все равно выходит на бой. Потом на допросе Салават скажет следователям, что он "клялся до самой гибели находиться в безпокойстве"» [5, 403]. Эта идея максимально близка пугачевскому признанию: «Никакие угрозы суровой судьбы / Не должны вас заставить смириться. / Вы должны разжигать еще больше тот взвой, / Когда ветер метелями с наших стран дул...» [3, 47]. Характерно, что предательство, совершенное над Салаватом, показано не менее подробно, чем пленение Пугачева. Если поэма Есенина дает основания сблизить Пугачева с Христом [12], то в повествовании Иванова такой безгрешностью обладает Салават: «Крепко обнявшись, Емельян Пугачев простился с Салаватом Юлаевым. Снова свидятся они уже только за чертой смерти: там, где рай правозверных своим краем сходится с адом православных» [5, 397].

Трагической виной Пугачева исследователи Есенина считают самозванство, принятие чужого имени и судьбы. Тему самозванства как ухода от собственной судьбы, попытки скинуть груз души Иванов, кажется, исчерпал уже в «Золоте бунта». Поэтому трагедия отказа от себя в «Вилах» практически отсутствует. Но вот кладбищенская тема, жуткий мажор возникает на страницах повествования так же, как и у Есенина (об образах «плясок смерти» говорится в работе А.А. Николаевой [7]). Причем эти иррациональные образы, запечатленные легендами, лишь отчасти поддаются объяснению самого автора (такова история о «Емельяне и Мартемьяне»). Концептуальная важность иррационального, приоткрывающего границу миров начала отражается в сильных позициях заглавий: «Самовар для Страшного Суда», «Хива: казачий армагеддон», «"Вечное зрение"», «Воистину воскрес» и, особенно, «Мертвец Общего Сырта». В этой главе Иванов повествует о том, как Пугачев объявил себя царем. Но словесная ткань опять уводит автора в область мифопоэтики, к представлениям о хтонических силах: «Он ничего не боялся, и

пути назад ему не было. Для империи он стал в одном лице и человеком, и Страшным Судом: убитый царь, оживший мертвец Общего Сырта» [5, 471].

Отметим, что из писавших о Пугачеве, кроме Пушкина, Иванов упоминает лишь Есенина. Это сделано дважды. «Былой Таловый умет, о котором писали Пушкин и Есенин, – ныне самое обычное степное село Таловое в Казахстане, на границе с Россией. Провинциальная бедность и привычная разруха. Здесь нет никакого напоминания о начале великого бунта, и никто уже не помнит ни о Пугачеве, ни о Пушкине с Есениным» [5, 469]. Тут имена двух поэтов встают рядом как маркеры русской идентичности. Второе упоминание содержит однозначно высокую оценку поэмы Есенина: «Хлопуше "повезло" через два века после гибели. В пугачевщине он был фигурой эпизодической, но в поэме Есенина "Пугачев" стал одним из главных героев. Образ Хлопуши потряс Россию в исполнении Высоцкого. Есенин и Высоцкий вернули пугачевщине пушкинскую высоту драматизма и сделали Хлопушу олицетворением национального бунта» [5, 204].

Именно в повествовании Иванова о Хлопуше реализуется прямое влияние Есенина. Очевидно, что Иванов черпал сведения о Хлопуше в работе Жижки [4], возможно знакомился с допросными листами пугачевца. Но при этом Иванов принимает художественную версию Есенина о том, что Рейнсдорп подсылает Хлопушу именно как убийцу Пугачева. Тогда как опросные листы свидетельствуют о более прагматичной цели – Хлопуша должен передать манифесты. «Хлопушу призвал господин губернатор пред себя в дом Тимашова и говорил: "Слушай, Хлопуша, я посылаю тебя на службу, возьми ты у меня четыре указа и поезжай в толпу Пугачева". Ис которых один приказывал отдать яицким казакам, другой илецким, третий оренбургским, а четвертый самому Пугачеву и, при случае, уговаривать ис толпы Пугачева людей, чтоб отстали, рассказывая всем, что он не государь, а самозванец и "если ты поберешь партию, то не можно ли свести Пугачева в город Оренбург"» [4, 163]. Согласно комментариям Н.И. Шубниковой-Гусевой, именно Есенин творческой волей изменил основную цель присылки Хлопуши в лагерь мятежников: «Насчет предложения Хлопуше убить Пугачева Есенин преувеличил. Все историки в унисон сообщают о поручении Рейнсдорпа переслать с каторжником в лагерь Пугачева увещательные манифесты, а Н. Ф. Дубровин к этому добавляет сведения о задании разоблачить самозванца в глазах казаков и при их содействии доставить бунтовщика в Оренбург – это уж при самых благоприятных обстоятельствах, а также сжечь порох и заклепать пушки» [13, 519]. В целом же Хлопуша Иванова не становится символическим воплощением мощи бунта, той внутренней готовности, с которой народ принимает Пугачева. У Иванова Хлопуша не столько одержимый жаждой жестокой справедливости «убийца и фальшивомонетчик», но «самый бедный человек», невезучий бедняк, из которого империя делает преступника. Но факт, подсказанный Есенину логикой развития авантюрного сюжета, оказывается уместен и в историческом повествовании Иванова.

Таким образом, автор «Вил» сам оказывается в ситуации вил, выбора между двумя традициями осмысления бунта: пушкинской объективностью и есенинской художественной трансформацией. На страницах книги происходит колебание между историзмом и мифологизмом, научностью и художественностью, осовремениванием и провалом в архаику.

1. Воронова О.Е. *Национальное и общечеловеческое в творчестве Сергея Есенина: архетипы, универсалии, концепты*. Рязань, 2013.
2. Гончаров П.А., Гончаров П.П. «Предел кровавому поприщу»: мотив возмездия в повествовании А. Иванова «Вилы» // *Неофилология*. 2020. Т. 148 6, № 21. С. 141–152.
3. Есенин С. А. *Пугачев* // *Есенин С.А. Полн. собр. соч.: в 7 т. Т. 3. Поэмы*. М., 1998. С. 7–51.
4. Жижка М.В. *Допрос пугачевского атамана А. Хлопуши* // *Красный архив*. 1935. № 1. С. 162–163.
5. Иванов А. *Вилы*. М., 2016.
6. Марченко А.М. «Я хочу видеть этого человека...» Попытка истолкования «образов двойного зрения» в поэме Есенина «Пугачев» // *Вопросы литературы*. 2006. № 6. С. 121–140.

7. Николаева А.А. Тема «плясок смерти» в образной системе поэмы Есенина «Пугачев» и произведениях изобразительного искусства // *Сергей Есенин и искусство: Сб. науч. трудов.* М., 2014. (Сер. «Есенин в XXI веке»; 2). С. 334–341.
8. Польш Д.В. Мифологическое и историческое в поэме С.А. Есенина «Пугачев». // *Сергей Есенин. Личность. Творчество. Эпоха. Ч. III. М. – Константиново – Рязань, 2018.* (Сер. «Есенин в XXI веке». Вып. 6.) С. 360–371.
9. Самоделова Е.А. *Историко-фольклорная поэтика С.А. Есенина.* Рязань, 1998.
10. Солнцева Н.М. Поэтическая этнология С. Есенина («Пугачев») // *Вестник Московского университета. Серия 9. Филология.* 2015. № 4. С. 9–19.
11. Цветаева Пушкин и Пугачев // *Цветаева Собр. соч.: в 7 т. Т. 5. Автобиографическая проза. Статьи. Эссе. Переводы.* М., 1994. С. 498–525.
12. Шубникова-Гусева Н.И. *Поэмы Есенина: От «Пророка» до «Черного человека»: Творческая история, судьба, контекст, интерпретация.* М., 2001.
13. Шубникова-Гусева Н.И., Самоделова Е.А. *Комментарии // Есенин С.А. Полн. собр. соч.: в 7 т. Т. 3. Поэмы.* М., 1998. С. 435–718.